

Н. Н.
ЗЛАТОВРАТСКИЙ

Избранное





SHOUT
SHARE **IT**

Annotation

«С покойным Александром Ивановичем мне пришлось познакомиться впервые в 80-м, кажется, году, но я, к сожалению, уже не помню, при каких обстоятельствах это произошло. Впервые я вспоминаю его, когда он уже был заведующим в Петербурге в одной частной библиотеке, вновь открытой на углу Невского и Литейной...»

- [Николай Николаевич Златовратский](#)

○ * * *

- [notes](#)

○ 1

Николай Николаевич Златовратский
Из воспоминаний об А. И. Эртеле

С покойным Александром Ивановичем мне пришлось познакомиться впервые в 80-м, кажется, году, но я, к сожалению, уже не помню, при каких обстоятельствах это произошло. Впервые я вспоминаю его, когда он уже был заведующим в Петербурге в одной частной библиотеке, вновь открытой на углу Невского и Литейной. Несколько раз я и бывал у него там. Библиотека была небольшая, в очень скромном помещении, составленная исключительно из «серьезных» книг, в то время наиболее ходких и, повидимому, предназначавшаяся главным образом для обслуживания духовных запросов интеллигентного разночинства. А.И. в то время, кажется, помещался в одной или двух небольших комнатках при библиотеке, где и собирались у него кое-кто из молодежи. Между прочим, помнится мне, некоторое время состоял у него в качестве помощника, в то время еще студент, небезызвестный впоследствии, рано умерший молодой писатель И.Н. Харламов, которого я хорошо знал, как близкого мне земляка. В то время Эртель уже начал печатать свои «Записки степняка» в «Вестнике Европы». В это же время мы, младшие по времени сотрудники «Отечественных записок», затевали дешевый артельный журнал «Русское богатство», преисполненные мечтаниями создать орган, возможно доступный по цене для разночинской читающей публики. Эртель, насколько помнится, сочувствуя общей идее журнала, несколько скептически относился к нашему предприятию с практической стороны и не торопился записываться в его сотрудники. Да и вообще он не состоял в числе сотрудников «Отечественных записок» и ничего в них не печатал до 84-го, последнего года их существования, когда [...] был напечатан его небольшой очерк, хотя он был в очень близких отношениях с ближайшими сотрудниками их, как, напр., С.Н. Кривенко. Отчего это происходило, сказать не умею, но он долгое время предпочитал печататься исключительно в «Вестнике Европы». Вообще его литературная физиономия как начинающего писателя в то время еще недостаточно выяснилась, и он стоял как бы между двух литературных лагерей, хотя во многом и очень близких друг к другу.

В личных отношениях, которые между нами ограничивались тогда отношениями доброго знакомства, он мне тогда нравился своим мягким, тактичным и дружелюбным отношением к товарищам, к которому, однако, всегда примешивалась доза как бы некоторой добродушно-скептической иронии. Эта черта,

повидимому, глубоко лежала в его натуре и объяснялась, надо думать, преобладанием в нем несколько практического взгляда на людские отношения, быть может, воспитанного в той сурово деловой сфере (крепостнического строя жизни), в которой прошло его детство. Кто читал его «Записки степняка» – это наиболее характерное для его творчества, наиболее ценное и непосредственное из его произведений, тот не мог не заметить, насколько все оно было проникнуто этим настроением. Впрочем, это его обычное настроение не мешало ему тогда относиться все же с сочувствием к тем проявлениям идеалистических стремлений, которыми так беззаветно жило тогдашнее молодое поколение.

Наше петербургское знакомство продолжалось недолго. В половине 80-го года он сильно заболел, доктора спешно отправили его на кумыс, вообще на юг, где он провел около года и вернулся в Петербург уже в 82-м году. В этот приезд я его уже не видел: он вскоре был арестован по какому-то политическому подозрению и выслан из Петербурга в Тверь (город этот он, кажется, сам выбрал).

Вскоре после этого, вслед за крушением под нашей редакцией «Русского богатства», а затем и журнала «Устоев», вновь открытого той же группой сотрудников «Отечественных записок», который был по выходе 3-4 книжек запрещен навсегда, я больше кочевал из Петербурга в Москву и в провинцию, а после 84-го года, когда были закрыты «Дело» и «Отечественные записки», я окончательно переселился в Москву, где в то время начинала процветать «Русская мысль».

Эртель к этому времени, повидимому, уже прочно обосновался в Твери, прожив там до 87-го года; по крайней мере моя наиболее оживленная переписка с ним продолжалась на Тверь до этого года.

В этот период времени несколько раз бывал в Твери и я. Тверь тогда начала представлять из себя нечто совершенно экстраординарное среди других губернских городов. Он превратился, как мы в шутку говорили, в настоящий «русский Цюрих», куда съезжались, вольно и невольно, разные так называемые «неблагонамеренные» элементы.

Александр Иванович с семьей занимал в Твери сравнительно довольно большую квартиру, где собиралось немало всяких интеллигентов. Я встречал в его квартире как представителей местной, тверской, интеллигенции, так и заезжей. Так я видел там Петрункевичей, статистика Покровского, с разнообразными интеллигентами-подвижниками на поприще статистики, Лесевича, кажется, тоже высланного в Тверь, Мачтета и, наконец,

новообращенных «толстовцев».

Несмотря на крепчавшую в те годы реакцию, среди тверской интеллигенции царило большое оживление, особенно благодаря быстрому развитию «толстовства», вызывавшего шумные и продолжительные дебаты как в Москве, так и в Твери. Такие дебаты нередко происходили и в квартире Эртеля. «Толстовство» как-то неожиданно врезалось тогда в установившиеся раньше «идеологии», выражаясь новейшим определением, каким-то острым клином. Ни одно из существовавших в интеллигенции направлений не удовлетворялось им вполне, не могло с ним примириться, особенно в первое время.

Главным образом протестовали против его узкосектантского характера, с принципами исключительно личного усовершенствования и «непротивленства», которое тогда понималось в смысле абсолютного непротивления злу, не могли примиряться и люди либерального направления с теми нападками на «культуру», которые так ярко окрашивали проповедь самого Толстого.

Впрочем, и само «толстовство» в то время находилось еще в первом периоде созидания, и сам Лев Николаевич, переживая процесс «правдоисканий», далеко еще не высказался вполне определенно и часто в своих глубоких аналитических работах поражал парадоксальными афоризмами, ставившими нередко в недоумение его adeptов.

Так или иначе, на этой почве споры велись горячие. Александр Иванович Эртель, хотя и принимал в них участие и стоял в довольно близких отношениях с видными толстовцами, но я не помню, чтобы он тогда горячо и последовательно развивал свои взгляды и так или иначе высказывался по поводу этой идейной борьбы или определенно становился на ту или другую сторону. Но уже года через два он имел случай высказаться по этому поводу вполне определенно. У меня сохранилось очень характерное для его взглядов письмо, в котором он с грустью говорит о том разброде, который охватил часть нашей интеллигенции и представителей передовой литературы после разгрома многих тогдашних «фракций» и литературных органов.

Имея в виду, что его довольно обширная переписка готовится к опубликованию, я позволю себе привести здесь конец этого письма.

«Главное, — пишет он, — способность делать общее дело, одинаково относиться к тем враждебным влияниям русской действительности, которых накаплиется все больше... Писатель — тот же пахарь (в числе других, вовсе не писателей), и что бы

сказали, если бы пахари, вместо того чтобы дружно идти за сохой, вцепились бы в виски друг друга – и ну волочить! А у нас именно это и происходит. Ведь самый простой, самый дюжинный человек понимает, что одно из условий российской дикости – заматерелые формы церковные и государственные, и тот же человек знает, что в народе идет борьба с этими формами (сознательная и активная с церковью, бессознательная и пассивная с государством), что чем сознательнее и активнее первая, тем больше шансов, что и вторая будет такая же. И вот появляется писатель, который дает огромный арсенал для этой борьбы – дает его такому количеству людей, которому до сих пор не могли дать самые блистательные представители борьбы с государством и с церковью почти ничего.

И что же, именно за этот арсенал, за то, что великий писатель сошелся в своей исходной точке зрения с народом, за то, что он взял этой исходной точкой зрения учение Христа, – на него и напали с посрамлениями и заушениями. Есть ли тут смысл? Мыслима ли такая диверсия от настоящих друзей народа? Возможно ли такое отношение к Толстому от истинных приверженцев свободы?»

Дальше из письма видно, что между нами шли по этому поводу разговоры раньше и что я не совсем был согласен с его таким категорическим заявлением относительно отношения к Толстому наших передовых публицистов. Эти недоразумения, как известно, достаточно полно были разъяснены Михайловским в его статье «Шуйца и десница Толстого». Но Эртель был, несомненно, прав, говоря, что Толстой был безусловно понятен народу и по многим своим воззрениям и писательским приемам стоял к нему бесконечно ближе, чем наши передовые писатели, обслуживавшие почти исключительно «верхи».

В Тверь, как я уже говорил, я заезжал несколько раз, и всегда мне приходилось у того или другого из тверских интеллигентов присутствовать при дебатах, на которых производилась, если и не совсем такая «переоценка всех ценностей», которая была выдвинута несколько лет спустя вновь народившимися «фракциями», но все же «переоценка» как многих социально-политических, так и религиозно-философских вопросов благодаря главным образом все более и более энергичному выступлению Толстого на поприще своеобразной «народной» публицистики. Дебаты эти в сущности были отражением тех, которые в значительно больших размерах происходили у нас в Москве.

Вообще пребывание в Твери, несомненно, сослужило Эртелю большую службу во многих отношениях. Не говоря уже о

результатах общего идейного развития, Тверь развернула перед его наблюдательным взором целый ряд характерных типов тогдашней интеллигенции, которые он впоследствии не без успеха использовал в своих романах. А затем знакомства эти открывали ему в будущем перспективы в практически духовной сфере, к которой он, повидимому, всегда чувствовал особое тяготение, возымевшее, как кажется, роковое значение впоследствии для всей его чисто литературной деятельности, как-то внезапно оборвавшейся и прекратившейся совсем. Но в этот, «тверской», период он, повидимому, работал наиболее энергично за все время своей литературной деятельности. Работал он по преимуществу в «Русской мысли», которая заняла в то время амплуа погибших «Отечественных записок», завербовав к себе почти всех выдающихся сотрудников петербургских журналов. В этот же период он много и охотно переписывается со своими близкими знакомыми, представляя в этом случае в среде нашего литературного поколения исключительно редкий пример, напоминая людей 30-х и 40-х годов, отличавшихся особой склонностью к письмописанию: наше поколение, как известно, этой склонностью далеко не отличалось; как по личному нерасположению к ней, так еще больше, должно быть, по причинам, так сказать, «охранного» характера. Об этом, вероятно, не раз придется пожалеть историкам нашей литературы. Эртель оказался в этом отношении счастливее. Переписка А.И., как мне передавали, достигает очень солидных размеров. Надо думать, судя уже по приведенному выше письму, что она даст немало ценного материала как для его личной характеристики, так и в общественно-литературном смысле.

Между прочим, в течение этого времени у меня с ним идет переписка по поводу некоторых проектов, предположений и мечтаний в области разных литературных предприятий. Так, еще во время моего первого приезда в Тверь у нас уже заходила речь о зарождавшейся среди тверских литературных и общественных деятелей мысли об издании местной *областной* газеты. Когда я уже окончательно обосновался в Москве, эта мысль, очевидно, пришлась очень по душе Александру Ивановичу, и он ведет по поводу ее практического осуществления деятельную со мной переписку относительно вербовки единомыслящих сотрудников и подыскании лица, которое могло бы быть достаточно влиятельным и компетентным, чтобы взять на себя официально представительство газеты, так как предполагалось, очевидно, что такое представительство никому из крупных тверских либералов заполучить в то время не удалось бы. Дело это так и не осуществилось в предполагавшемся виде. В чем была тут причина

– осталось для меня неясным.

Но неудача в Твери не остановила других наших предположений и мечтаний. Так, я переписываюсь с Эртелем по поводу сначала задуманного нашим московским кружком издания сборника в память 25-летия годовщины Освобождения, в котором, как предполагалось, все произведения, не теряя в серьезности содержания и художественности исполнения, были бы в то же время доступны и интересны народу. В редакции сборника обещали принять участие многие видные писатели при сочувствии и содействии Л.Н. Толстого. Сборник не осуществился, хотя, повидимому, были и необходимые средства для издания, – почему так вышло, решительно не могу припомнить. Затем наш московский кружок переживает характерный, но в то же время и глубоко печальный для характеристики тогдашних настроений инцидент с изданием дешевого ежемесячного журнала, в котором предполагалось и участие А.И. Эртеля, журнала, прекратившегося с выходом первой же книжки. Однако попытки создать общедоступный орган, несмотря на все неудачи, нас не покидают. Так, уже в 89 году наш московский кружок, в то время близко сошедший с некоторыми лицами, группировавшимися около Л.Н. Толстого, хлопочет об осуществлении в Москве давно уже носившейся в головах так называемой «народнической» интеллигенции мечты об издании народной газеты. К этой мысли очень сочувственно отнесся и Л.Н. Толстой, заходивший в то время иногда ко мне на квартиру потолковать насчет программы издания и ее практического осуществления. Ко всем этим предположениям и начинаниям А.И. Эртель относился с большим сочувствием, хотя и выражал сильное сомнение в возможности вести дело народной газеты настоящим образом при существовавших в то время условиях. Вот что, между прочим, писал он мне по поводу последнего предприятия:

«Какая это трудная вещь – журнал проектируемого типа. Я представляю себе такой журнал лишь совершенно удовлетворяющим вкусам и интересам *нового* читателя, читателя, который, точно грибы после дождя, появился теперь на Руси. Смотрите: вот вам газета Гатцука. По цене, по той среде, в которой газета была распространена еще при старой редакции, этой газете нужно было иметь в виду только нового читателя, то есть отчасти самоучку, отчасти плохо и поверхностно образованного, но жадного до знаний и весьма последовательно разбирающего, где его интересы, где лево, где право в любой экономической, общественной и политической обстановке. Что же делает новая редакция и „старые элементы“, составляющие

контингент ее сотрудников^[1]. Боже мой, да для кого вы издаете? Для кого пишете, господа? И не мудрено, что эту самую газету Гатцука ругают на чем свет стоит и старые и новые подписчики. Нет, эти подъезжания и подразумевания, этот алгебраический язык и алгебраические ситуации, эти темы, интересные для маленькой кучки людей, надо бросить с новым читателем, надо говорить с ним простым, бесхитростным языком, надо помнить, что в большинстве случаев он родился только сегодня и „вчерашнего дня“ он не знает; надо знать, что прежде всего этот новый читатель – грубоватый, положительный человек, что ему не нужны всякие там тонкости и нюансы... Вот „Русское слово“ 60-х годов умело говорить с этим типом читателя; там и переводы-то были Эркмана-Шатриана, а не Жоржа Дюруа, там и стихи-то били прямо в точку. Вот в этакой бы форме, хотя, разумеется, совсем о другом и еще ближе к пониманию нового читателя, говорить новому, „деревенскому журналу“. Но возможно ли это по цензурным условиям?..»

Оказалось безусловно невозможным, как и все прочие наши литературные предприятия. (Между прочим, оказался, кажется, неосуществленным и сборник, который предполагал издать Эртель в Воронеже в благотворительных целях и в который приглашал участвовать и меня.) Характерно, что невозможными все эти предприятия оказывались не только исключительно по цензурным условиям, но и под давлением создавшейся тогда общественной атмосферы, при которой становилось немыслимым предаваться каким-либо «мечтам», напоминавшим настроения и тип литературы 60-х и 70-х годов. Для нашего поколения наступал период как бы временной литературной «прострации».

В конце 80-х годов Эртель, кажется, уже окончательно перекочевал на постоянное жительство в Воронежскую губернию и вообще в юго-восточные Палестины. В это приблизительно время мне пришлось лично быть у него в Самарской губернии, где он проживал на хуторе одного знакомого помещика, а я в то время поселился на лето с семьей в соседском самарском имении Сибирякова, куда попал благодаря отчасти «протекции» Александра Ивановича, часто там бывавшего, а главным образом потому, что мне приятели рекомендовали взглянуть на имение Сибирякова, как на любопытный опыт культурно-филантропического крупного хозяйства и на зарождавшуюся там же благодаря содействию Сибирякова полутолстовскую общину. То и другое в то время возбуждало много толков. Приехало в имение Сибирякова много общих знакомых, велись продолжительные беседы и споры, ездили по окрестным деревням и хуторам. Вообще, поле для наблюдений было и обширное и

интересное, которое могло дать Александру Ивановичу, близко стоявшему к заправилам дела и ко многим крупным местным старожилам, много ценного литературного материала, которым он потом и не преминул воспользоваться в своих романах «Гарденины» и «Смена».

После этого он, нередко приезжая в Тверь и Москву, заходил ко мне и от времени до времени продолжал еще переписываться со мной. Так я получил от него в 89-м году (из Твери) большое письмо, которое, по-моему, является особенно ценным для характеристики, так сказать, литературного периода его жизни. В заключение я позволю себе привести несколько отрывков из этого письма, характеризующие его взгляды на значение и характер художественной литературы: «Начал было статью не столько по существу, сколько по поводу ваших сочинений, – пишет он, – хотелось мне противопоставить нынешним запросам от искусства („как собака прищемила хвост“ и „что думают о своих знакомых женщины во время родов“ и т. п.) ту „мечту“, которая от Радищева, от Новикова и до сегодня составляла гордость русской литературы, ее характерное отличие от литератур западных, ту „мечту“, которой вы, в свою очередь, являетесь выразителем и которая в „нынешнее время“ обретается не в авантаже. Но, увы! ни времени не хватает, ни умения! А тема заманчивая. Мне хотелось представить характеристику тех, несомненно очень крупных, писателей – Золя, Мопассана, Доде, с легкой руки которых у нас так прививается якобы объективное созерцание жизни и понятие о писательстве как о *карьере*, и в противоположность им охарактеризовать писателя „мечтательного типа“. Мне хотелось показать нынешнему „трезвому“ читателю, что без „ключа“ нельзя читать... Что если у него нет такого ключа, то можно только почитать в свое удовольствие... и опять с радостным сердцем бежать на биржу, на прокурорскую трибуну... да куда хочешь – даже с доносом можно побежать, ибо ничто не вопиет против доноса в той „трезвой“ литературе, которая входит с легкой руки великих французских буржуа у нас в моду. Для литературы иного склада нужен и иной ключ. Отомкнуть „Исповедь“ Толстого потруднее, чем „Trents ans“ Доде и „Грозу“ Островского, чем водевиль. Вот все это и хотелось мне написать. Так это глубоко интересуется меня... Конечно, я вовсе не был намерен унижить таланты французов... но беда в том, что талант-то „мамоне“ работает... Конечно, так как произведения-то яркие, фотограф. и психически правдивы, то и из них „устраивающий“ и „созидающий“ дух воспользуется тем, другим, но что сказать о наших-то отечественных копиистах? Подражать мастерам, по-моему, должно, но зачем расставаться

нам с нашей „мечтой“? Спускаться в низменные и безотрадные подвалы их научно-буржуазного мировоззрения не только не должно, а, значит, прямо подписать приговор нашей индивидуальности, нашей самобытности – *raison d'être* нашей литературы с времен Радищева и Новикова. С этим надо бороться, по моему мнению».

Письмо это, кажется, было последним из сохранившихся у меня. С первой половины 90-х годов Александр Иванович все реже и реже появляется среди московских литературных кружков (по крайней мере тех, к которым мы раньше вместе стояли близко), все реже пишет письма, а затем прекращает и литературную деятельность. Но в чем заключалась его дальнейшая «практическая» деятельность, так и осталось для меня закрытым. В течение последних 15 лет я уже не встречал его близко и не получал от него писем. Очевидно, его поглотили какие-то другие интересы, отнявшие его так резко и от литературы и от прежних литературных товарищей... Мы, конечно, могли об этом только жалеть. Искушалось ли, однако, это значительностью этих «практических» интересов? Ответить на этот вопрос, конечно, могут только те, которые близко стояли к нему в это последнее десятилетие. В моих же воспоминаниях образ покойного сохранился в том симпатичном освещении, каким я знал его в первые 10 лет его литературной деятельности. Приведенные мною выдержки из его писем ко мне достаточно ярко рисуют его возвышенный душевный строй в то время и духовную между нами близость в описанный мною период.

Что касается общего взгляда на его литературную деятельность, то я могу только указать на то, что в наших литературных кругах А.И. Эртель считался обладавшим выдающимся, хотя и в значительной степени подражательным, дарованием, что его литературной деятельности, несомненно, не была чужда та *«мечта»*, о которой он с таким увлечением говорил в своих письмах, но он, до конца находясь как бы в периоде «поисков» за неуловимой для него определенностью художественного созерцания жизни, колеблясь постоянно между различными влияниями от Тургенева и Толстого до разночинцев 60-х годов, не успел придать своим произведениям яркости, силы и определенности того, так сказать, «художественного прогноза», который свойственен лишь яркой художественной индивидуальности. Тем не менее, несмотря на то, что он явился в литературу на рубеже двух периодов, в смутные 80-е годы, несомненно имевшие на него влияние, несмотря на то, что ему не удалось придать своим произведениям печать определенной художественной индивидуальности, он сумел в своих

произведениях ярко отразить ту «межеумочную» структуру русской жизни, в которой для него главным образом бросались в глаза крепостнический атавизм и хищнические аппетиты вновь вылупившихся слоев, с одной стороны, и хаос смутных идеалистических настроений тех молодых сил, которые шли на смену армии старых идеалистов.

Таким образом, если допустимы вообще краткие общие характеристики таланта, литературно-художественное наследие покойного А.И. Эртеля можно характеризовать как первую ступень к тому периоду нашей литературы, которому такую яркую окраску дал впоследствии Чехов.

Как бы, однако, ни оценивать художественный талант Эртеля, самая его личность во всей совокупности периодов ее развития, от ранних духовных исканий до форм «практической деятельности» последнего периода, представляет, несомненно, характерное явление для его времени, воплотив в себе многие своеобразные черты того более или менее «нового» разночинского типа, который дали 80-е годы.

Для характеристики этого типа, к ярким представителям которого можно причислить и А.И. Эртеля, переписка последнего, его биография дадут очень много ценного материала.

Источник текста: Златовратский Н.Н. Воспоминания, М. 1956.

Оригинал здесь: http://dugward.ru/library/ertel/zlatovratskiy_ertel.html.

notes

Примечания

Он понимает здесь видных сотрудников обычных
прогрессивных изданий.